

# Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828-1910)

Одним из первых произведений Л. Н. Толстого была повесть «Детство», где героем был не он сам, а совсем другой мальчик, с другой историей жизни, Николенька Иртеньев. Толстой придумал для него родителей, учителей, друзей, придумал ситуации, которых не было в его собственной жизни.

Но вот мы открываем эту книгу — и происходит удивительное. Перед нами — живые люди. Толстой как будто переселяется в каждого из них, умеет почувствовать и помыслить за каждого своего героя. И нам кажется, что «я» в повести — это сам писатель, а вовсе не придуманный им мальчик и что все радости и огорчения Николеньки на самом деле были в жизни, а не сочинились кем-то.

Это одна из загадок писателя: делать своих героев настоящими. А происходит это, возможно, потому, что Толстому очень важно, что чувствует его герой, как рождается его мысль, какие жесты ему свойственны и что они выражают.

Так может писать только тот, кто любит людей, стремится их понять, хочет им помочь.

## Детство (Главы из книги)

### Глава I. Учитель Карл Иваныч

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопучкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пёстром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьёт мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошёл к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над

нею в шитом *бисерном* башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s' ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal<sup>1</sup>, — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошёл ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утёр нос, щёлкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!<sup>2</sup> — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нём думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie<sup>3</sup>, Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чём я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слёз, заставляли их течь ещё обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, всё это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и её несут хоронить. Всё это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слёзы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слёзы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошёл дядька Николай — маленький, чистенький человек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нёс наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда ещё несносные башмаки с бантиками. При нём мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьёзный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомоёйником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?<sup>4</sup> — слышался из классной голос Карла Иваныча.

<sup>1</sup> Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (*нем.*).

<sup>2</sup> Ну, ну, лентяй! (*нем.*)

<sup>3</sup> Ах, оставьте (*нем.*).

<sup>4</sup> Скоро ли вы будете готовы? (*нем.*)

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слёз. В классной Карл Иванович был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, ещё с щёткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иванович, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своём обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Ивановича, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»<sup>1</sup>, в красных переплётках, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмёшь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была ещё разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплётки, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожжённом с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им своё зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрёл и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься на верх, в классную, смотришь — Карл Иванович сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинёшенек, и никто-то

---

<sup>1</sup> «История путешествий» (франц.).

его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал её Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдёшь к нему, возьмёшь за руку и скажешь: «Lieber<sup>1</sup> Карл Иванович!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линейвания; с другой — чёрная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнёшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадёт с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной чёрной клеёнкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь чёрную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдёт в грусть, и, бог знает отчего и о чём, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повёл нас вниз — здороваться с матушкой.

---

<sup>1</sup> Милый (*нем.*).

## Глава II. Матан

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слёзы, смутно видишь их. Это слёзы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была в это время, мне представляются только её карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *arpeggio*<sup>1</sup>. Подле неё вполупорот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло ещё более строгое выражение, как только вошёл Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»<sup>2</sup>, — ещё громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошёл прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал её руку.

— Ich danke, lieber<sup>3</sup> Карл Иваныч, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

<sup>1</sup> **Арпеджио** — звуки аккорда, следующие один за другим.

<sup>2</sup> Раз, два, три, раз, два, три (*франц.*).

<sup>3</sup> Благодарю, милый (*нем.*).



— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и ещё милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими, — сказала татап Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было её лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом всё как будто веселело. Если бы в тяжёлые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула её назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чём ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив ещё о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почётных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашёл, прежде чем пойдёт на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую ещё от времён дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

## Глава VI. Приготовление к охоте

Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчёт линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах татап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесёт и убьёт Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несёт, бедняжка татап продолжала твердить, что она всё гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими жёлтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегаёт, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаёмся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вёл в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом всё ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только чёрная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдёт; он объявил, что эта туча пойдёт к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» — и, раздвинув ноги, твёрдо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, тапан, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

— Собак не извольте раздавить, — сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз, — отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твёрдость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая её, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвёл лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около неё, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

## Глава VII. Охота

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пёстрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всём разгаре. Необозримое блестяще-жёлтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдалённым, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Всё поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскалённому полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла лёгкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на неё. Две борзые собаки, напряжённо загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, весёлый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-жёлтому жнивью, синей дали леса и белолиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, — всё это я видел, слышал и чувствовал.



Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, ещё телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и ещё кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми берёзками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили своё удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принохиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придёт полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходите!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лёг на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение моё, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперёд действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевлённое раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос её слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвёртый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, залиvistый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом.*

Услыхав это, я замер на своём месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряжённости было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лёг подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими, обомшальными хворостинками, жёлто-зелёным мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелёными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под неё, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечён бабочкой с жёлтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на неё внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли её пригрело, или она брала сок из этой травки, — только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на неё.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивая заяц. Кровь ударила мне в голову, и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнались дальше, как затукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, — но всё не трогался с места...

## Глава VIII. Игры

Охота кончилась. В тени молодых берёзок был разостлан ковёр, и на ковре кружком сидело всё общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зелёную, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завёрнутые в листья сливы и персики. Сквозь зелёные ветви молодых берёз просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову

Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Лёгкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, во что? — сказала Людочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. — Давайте в Робинзона.

— Нет... скучно, — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережёвывая листья, — вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»<sup>1</sup>, которого мы читали незадолго пред этим.

— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки. — Ты будешь Charles, или Ernest, или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь слёзы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдёмте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал всё очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывём на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и всё же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лёг на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждающая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние

---

<sup>1</sup> «Швейцарского Робинзона» (франц.).

вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остаётся?..

## Глава IX. Что-то вроде первой любви

Представляя, что она рвёт с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подёргивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Ещё помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre»<sup>1</sup>. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с её беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка её и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Что за нежности?

У меня же были слёзы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к её свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил ещё больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около неё. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринуждённо-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

---

<sup>1</sup> Это жест горничной (франц.).